

ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертации Жильцовой Елены Александровны «Русская классическая литература в восприятии И.А. Бунина и М.А. Алданова», представленной в диссертационный совет Д.212.263.06 при Тверском государственном университете на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 — русская литература.

Тема диссертационного исследования Е.А. Жильцовой **актуальна** без натяжек. В творчестве писателей русского зарубежья скрестились преклонение перед традицией и искания модернизма, горький опыт эмиграции и противостояние советской идеологии. Оставляя за рамками литературоведческого дискурса трагические коллизии истории и драматизм личного человеческого существования на чужбине, отметим, что подобного художественного эксперимента русская литература не знала. Даже у маргинальных литераторов русского зарубежья в творчестве проступают оригинальные черты, вызванные экстраординарными обстоятельствами жизни; у писателей более крупного масштаба художественные стили формировались в еще более сильном притяжении и отталкивании как от традиции, так и от новационных поисков эпохи. Значение русской национальной литературной традиции, наследия критического реализма, романного эпоса наряду с углубленным вниманием к личностям великих предшественников несло особый смысл после революции, когда, по словам В.Ф. Ходасевича, наступало время аукаться именем Пушкина в надвигающемся мраке. Но и в нынешнюю эпоху, когда на родине Пушкина, Толстого, Бунина процент читающих людей катастрофически падает, а школьные курсы литературы непрестанно перекраиваются и сокращаются, как шагреновая кожа, изучение особенностей отражения и функционирования литературной традиции в текстах нового времени, анализ интертекстуальных связей вкупе с рассмотрением аксиологической значимости русской классики представляется не просто своевременным, но насущно необходимым.

Диссертация Е.А. Жильцовой структурирована разумно и просто. Выбрав четырех писателей из когорты русских классиков — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов, — диссертантка, в соответствии с заявленной темой своего исследования, предпринимает попытку рассмотрения «бунинской и алдановской рецепции личностей и творчества русских писателей XIX века» (с. 10) в четырех главах диссертации. Главы разбиты на параграфы, в которых, с известной долей варьирования, представлена, во-первых, критико-публицистическая рецепция классика соответственно Буниным и Алдановым, и, во-вторых, при обращении к конкретным произведениям, отражение классики в художественном наследии обоих выбранных для анализа авторов. Однако тема

диссертации сопряжена не только с известной сложностью — отобрать материал для разного рода (типологических, интертекстуальных, мифопоэтических) сопоставлений творчества писателя-эмигранта с предшествующей литературной традицией. В теме таится и прямая опасность, поскольку сопоставление нужно проводить не только диахронически, но и на синхронном уровне, соотнося художественные системы Бунина и Алданова. Именно в этом состоит подлинная **новизна** предпринятого исследования. Провести подобное перекрестное сопоставление крайне непросто, но, надо признать, диссертантка со своей задачей справилась.

Для каждой главы, построенной, в сущности, по одному общему принципу, найдено свое название и, соответственно, свой поворот в исследовании. Впрочем, некоторый терминологический сбой в заголовках есть (так, глава I именуется «А.С. Пушкин в критических и творческих работах И.А. Бунина и М.А. Алданова»; вероятно — в «художественных?»), но параграфы довольно удачно озаглавлены цитатами, что придает известную свежесть и теплоту исследовательскому взгляду. Эта первая глава откровенно выдает известную робость дебютанта в начале исследования; ученическими выглядят и зависимость от разысканий предшественников, занимавшихся рецепцией Пушкина в литературе русского зарубежья, и преклонение перед прославленными именами. Так, диссертантка еще не уверена в том, может ли она критически осмыслить собранный материал в той части, которая касается иных критических суждений и художественных решений М.А. Алданова, и останавливается на стадии реферирования.

В исследовательской базе первой главы, как и в представленном библиографическом списке использованных работ, есть одно досадное упущение. Диссертантка опирается, и это объективная данность, на ничтожный корпус критико-публицистических публикаций Бунина о Пушкине, прибегая к сборникам текстов по русской эмигрантской пушкиниане. Если бы Е.А. Жильцова обратилась к изданию «И.А.Бунин. Публицистика 1918-1953 годов / Под общей ред. О.Н. Михайлова. М.: Наследие, 1998», то непременно обнаружила бы удивительную лакуну, связанную с именем Пушкина, особенно красноречивую в 1937 г. (который диссертантка в одной фразе неловко назвала годом «празднования столетнего юбилея», а имя Пушкина «центром, который мог сплотить» идейно разнородную эмиграцию; с. 18). В эмиграции Бунин казался, да и позиционировал себя преемником русской классики: передавая в «Жизни Арсеньева» слова отца («может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет?»), Бунин пишет не о вымышленном Алеше Арсеньеве, а о себе самом. В Париже он и ощущает себя главой русской литературы в изгнании. Именно Бунин должен был стать

ключевой фигурой близящихся торжеств, должен был сказать главные, пронзительные слова, соединить роковой выстрел на Черной речке с трагедией русской эмиграции. Именно от него, затаив дыхание, русский изгнанник должен был услышать так же, как веком раньше сосланные в бессрочную каторгу декабристы, о надежде, верной сестре несчастья, о любви, о дружестве и свободе, о радостном воссоединении на родине с братьями, отдающими меч... Но Бунин промолчал.

Бунину было не с чем выступить. Уровень события предполагает создание текста — равновеликого если и не первому поэту России, то хотя бы достойного первого писателя эмиграции, увенчанного лаврами международной — Нобелевской — премии (1933). В публицистическом наследии Бунина нет посвященных Пушкину юбилейных речей. В основательный том его изданной публицистики включены лишь два крошечных текста — один более поздний, прочувствованный, послевоенный, к 150-летию со дня рождения поэта, развивает мысль текста 1937 г., напечатанного в специальном пушкинском № 7 «Иллюстрированной России». Три строки, озаглавленные «Пушкинские торжества», чудовищны по немоте: «Страшные дни, страшная годовщина — одно из самых скорбных событий во всей истории России, той России, что дала Его. И сама она, — где она теперь, эта Россия?» Нечего сказать, и потому Бунин смещает акцент с Пушкина на Россию и тем усугубляет свою неправоту. Россия, оставленная эмигрантами, продолжала существовать и, празднуя тот же юбилей, доказывала тем самым и свое существование, и свое право на существование. В дни светлой печали о Пушкине Бунин остался совсем один, как писатель не появился на пушкинских торжествах, в лишь пару раз выступил с чтением самого Пушкина, да явился на банкет по случаю закрытия Пушкинской выставки, великолепно устроенной С. Лифарем. Это одиночество 1937 года кажется одним из самых трагических мгновений в жизни самого Бунина.

Представить, между тем, что Бунин жил «гулякой праздным», не думая постоянно о Пушкине, о его озарившем всю русскую жизнь гении и о скорбной годовщине, невозможно. Он так и «не примирился со смертью Пушкина» (Ю.Л. Сазонова-Слонимская), и, подобно очень многим русским культурным людям и тем более многим русским писателям, так и жил «с свинцом в груди». В этом, кстати, разительное и кардинальное отличие от Алданова, понимавшего «умом» величину Пушкина для России, но так и не осознавшего, почему символом веры для русского человека являются строки подобные извечным «Мороз и солнце, день чудесный!» И непередадим Пушкин на другие языки потому, что невозможно перевести, наряду со словами, чувства, мысли, предания, страхи, радости и вообще все то, что заключено в этом снежном, зимнем поэтическом

парадизе, всего того, что, по словам уже Толстого, «было во всяком русском человеке». Бунин всем своим творчеством откликался на формулы Пушкина, продлевая, переосмысливая их в своем творчестве. Многие Е.А. Жильцова отметила в своем анализе, например, удачно разобрала образ пушкинской Татьяны, трансформировавшийся на страницах бунинской прозы. Впечатляюще выглядит литературоведческий вклад в осмысление пушкинских традиций в творчестве Бунина, который обзорно представила на страницах первой главы Е.А. Жильцова; жаль, что из ее обзора выпали некоторые интересные современные работы (О.А. Лекманова, некоторые тезисы которого стоило бы оспорить, или С.М. Аюпова и Н.В. Пращерук, весьма бесполезные для упрочения теоретических основ проводимого исследования). Что касается «пушкинского текста» в творчестве Алданова, то, кажется, можно всецело положиться на увлекательный очерк Е.А. Жильцовой, привлекающей к рассмотрению как критику и эссеистику, так и романистику писателя. Алданов написал неизмеримо больше Бунина, а известен гораздо меньше; тем ценнее проделанный диссертанткой на разнообразнейшем материале анализ.

На этом «широком» алдановском фоне смущают слишком лаконичные обращения к тому или иному бунинскому произведению, да и то пропущенному «через вторые руки». В качестве примера приведем один абзац в несколько строк на с. 66, где речь идет об «Окаянных днях» в связи с Украиной и Гоголем и приведена лишь отсылка к другой исследовательской работе (здесь мы уже переходим к рассмотрению второй главы диссертации, с нарочито узким названием «Н.В. Гоголь в оценках И.А. Бунина и М.А. Алданова»). А ведь нигде так интенсивно, как в «Окаянных днях», Бунин не прибегает к контрастивному письму, нигде так обильно не пользуется образами и языком Священного писания, нигде его перо не будет больше так гневно, так злобно сатирично и гиперболично и в то же время лирично. Этому дневнику пореволюционных дней, опубликованному почти два десятилетия спустя после его написания, стоило бы уделить больше места и в связи с Гоголем, и в связи с Пушкиным, в единой связи с их историко-публицистическими произведениями. Отметим заодно и поверхностные параллели с пейзажными страницами у Гоголя: Бунин не только порой стилизует малороссийский колорит, пользуется красочной гоголевской словесной палитрой. Бунин усваивает и иные уроки гоголевского пейзажа — олицетворение явлений природы, прием замещения душевных и физических переживаний героев живым, движущимся пейзажем. Это особенно проявляется в поздних рассказах Бунина, где мир природы буквально эротизируется; но это справедливо и для более ранних произведений эмигрантского периода — для повести «Митина любовь» и для сопутствующих ей рассказов, прежде

всего «Солнечного удара». Сильно редуцирована и интерпретация бунинского рассказа «Жилет пана Михольского», в котором, конечно, в образе Гоголя, помимо Башмачкина, явственно заметен и Фома Опискин («Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского). Совершенно недостаточно сказано о гоголевских реминисценциях в «Деревне» Бунина. Гоголевская Россия, явившаяся в поэме, по самопризнанию автора, «с одного боку», Бунинным словно выравнивается, «округляется» до необходимо полной формы: «Вся Россия — деревня». В заключительных строках «Деревни» действительно звучит величальная свадебная песня — в фольклорной традиции, кстати, свадебный и погребальный обряды сближаются в образности, но финал бунинской «поэмы» кажется страшным зеркальным отражением и искажением финала гоголевской поэмы, заканчиваясь жутким свадебным поездом, несущимся в «серой клубящейся мути» (а это уже образ пушкинских «Бесов»).

И, напротив, верно и взвешенно, с привлечением различных точек зрения на гоголевского «Тараса Бульбу» проведен анализ не состоявшегося восприятия прославленной повести М.А. Алдановым. Уже в сопоставлении лирического воодушевления, которое, казалось, должно было роднить выросшего в Киеве Алданова с воспевавшим родную Малороссию Гоголем, Е.А. Жильцова справедливо улавливает «отвлеченность», отсутствие подлинного сильного чувства, страстной привязанности, отчего и речи алдановских персонажей «несопоставимо <более> блеклые и невыразительные» (с. 79). Прочитав некоторые суждения Алданова («Хуже всего “Тарас Бульба”, где почти все фальшиво и даже не очень талантливо...»; «смешение стилей»; «мало заботится о хронологии»; с. 57), диссертантка вынуждена признать, что Алданову оказалась чужда национальная идея повести, ее искренний и горячий патриотический пафос. Иначе воспринимает малороссийские повести Гоголя Бунин — для него это все «родное», где миф и история уже не делимы. Заключительный вывод Е.А. Жильцовой оспорить невозможно: «Но если Бунин становится продолжателем традиций Гоголя, то строгий читатель Алданов ограничивается аллюзиями и событийными ассоциациями» (с. 91).

Глава третья, «Ф.М. Достоевский как объект литературно-критического и художественного творчества И.А. Бунина и М.А. Алданова», в своей «бунинской» части, к сожалению, не изобилует новым материалом, привлекаемым к исследованию. По стопам многих своих предшественников, Е.А. Жильцова останавливается на «Петлистых ушах», «Деле корнета Елагина», причем выводит их генетически из «Преступления и наказания» Достоевского. С тем, что это положение в целом верно, трудно не согласиться; однако

критики и литературоведы согласны с этим буквально с момента появления бунинских сочинений в печати. Конечно, диссертантка стремится добавить в анализ «текста Достоевского», бликующего на страницах Бунина, свои замечания, но общей картины продвижения в этом направлении не складывается. Вопреки широкому названию главы, диссертантка сосредоточилась лишь на одном произведении Ф.М. Достоевского, пусть и таком программном, как «Преступление и наказание», совершенно оставив за рамками своего рассмотрения «Братьев Карамазовых», «Бесов» и, главное, «Записки из мертвого дома». А ведь Бунин, с его особым вниманием к психологии необразованных слоев общества, к глубинным темным инстинктам крестьянина и мещанина, часто затрагивал такие темы, которые прямо выводят к повести Достоевского о каторге и каторжанах. В этом смысле отдельные разговор заслуживают прежде всего, конечно, некоторые дореволюционные рассказы, бегло упомянутые в работе Е.А. Жильцовой («Ночной разговор», «Игнат», «При дороге», «Весенний вечер» и, быть может, в особенности «Ермил»), а в пореволюционном творчестве, разумеется, «Окаянные дни», в которых доля художественного вымысла, как показывают недавние разыскания (К. Ошар, А.В. Бакунцева), едва ли не перевешивает документальное повествование. Е.А. Жильцова как будто обращается к самому прославленному публицистическому произведению Бунина: «В “Окаянных днях” преступники классифицируются на “случайных” и “инстинктивных”. Последних Бунин снова называет “выродками”, которые “в мирное время <...> сидят по тюрьмам, по желтым домам...”» (с. 104). Эта едва ли не прямая отсылка Бунина к «Мертвому дому», однако, так и не вырастает в диссертации в самостоятельный сюжет. А между тем как верен следующий вывод Е.А. Жильцовой: «Среди отрывочных записей Бунина последних лет жизни находим меткое высказывание о творчестве Достоевского: “Все убийства, убийства!”. В какой-то степени эти слова можно отнести и к наследию самого Бунина: в поединке с “необязательным” и непонятным классиком он не раз мастерски “переписывал” знакомый сюжет» (с.105; библиографические отсылки нами опущены).

Что касается новеллы «Сын», то она не столько связана с претекстом Достоевского, сколько с разработкой схожей темы во французской литературе, у Флобера («Воспитание чувств») и Бальзака («Лилия долины»), на что указывают, среди прочего, маркированные имена персонажей. Если уж речь заходит об убийстве героем-французом «почтенной матери семейства» (с. 103), то как не вспомнить госпожу де Реналь Стендаля («Красное и черное»), на жизнь которой покушался Жюльен Сорель и которая «умерла, обнимая своих детей» (заключительные слова романа). Кстати, во включенном в библиографию

компендиуме «Классик без ретуши» (М., 2010), в который вошли критические публикации о Бунине не только из русской, но и из иностранной, в том числе французской периодики, опубликованы эссе французских критиков, обращавших внимание на это типологическое сходство бунинской новеллы с некоторыми сюжетами и образами великих французских романистов. И если в этой связи привлекать к рассмотрению роман Достоевского, то в сложном двойном восприятии, через рецепцию его во Франции и полемическую реакцию Бунина на французский взгляд. Однако эта тема сама по себе заслуживает отдельного, возможно, также диссертационного изучения.

Несколько поверхностным кажется и рассмотрение бунинского Петербурга (почти оксюморонное сочетание!) в соответствующем параграфе третьей главы. При завидном знакомстве с научными публикациями по анализируемой теме и, одновременно, при удачно подобранных цитатах из произведений Бунина — причем из прозы, лирики и публицистики, — Е.А. Жильцова не до конца обдумывает приведенный материал, не проводит прямой генетической линии от гроба, являющегося в самом зачине «Петлистых ушей» на петербургской улице, к осквернению гробниц Петропавловского собора в дни революции («Окаянные дни»), к разверзшемуся могилкой для всей России Петербургу, не просто в продолжение — но буквально в завершение традиции, в желании Бунина дописать финал к петербургскому тексту. Но, что самое замечательное, петербургский текст не ограничивается локусом Петербурга у Бунина, продлеваясь в парижском тексте. Но здесь мы вновь касаемся уже иного буниноведческого сюжета. А вот некоторые конкретные наблюдения диссертантки убедительны и углубляют хотя и уже давно сложившееся представление о «пропитанности» бунинских текстов классикой, но, тем не менее, требующее расширения доказательной базы. К таким тонким иллюстрациям бунинской интертекстуальности можно отнести замечание об оценочном использовании локативного определения «петербургский» в «Темных аллеях» (с. 110).

Отрадно, что Е.А. Жильцова привлекает к рассмотрению зарубежные критические и исследовательские работы. Заметим к сноске 242 о монографии Ш. Ледре (Ledré Charles. *Trois romanciers russes: I. Bounine, A. Kouprine, M. Aldanov*), что, после появления в 2008 г. диссертации С.А. Кривцовой, текст которой не опубликован, из печати в 2010 г. вышел уже упомянутый «Классик без ретуши», куда полностью включена в переводе глава о Бунине и где есть справка и о самом французском критике, журналисте, философе, и о его монографии «Три русских романиста», так что разъяснения о годе ее выхода (Париж, 1934) оказываются уже не актуальными. Между тем ни глава о Куприне из этой книги, ни глава об Алданове никогда целиком не переводились на русский язык и в России не

публиковались; тем ценнее обращение Е.А. Жильцовой к мнению французского критика — современника изучаемых ею русских писателей-эмигрантов. Здесь же с удовольствием отметим и еще одно важное для самостоятельной научной работы обстоятельство: обращение к архиву. В век цифровых технологий и всемирной паутины из любой точки планеты можно заказать и получить нужные автографы. De visu изучала диссертантка документы фонда М.А. Алданова в Доме-музее Марины Цветаевой (Москва) или по электронным копиям, не суть важно. Замечателен открытый ею факт из биографии Алданова, позволяющий в особом ракурсе взглянуть на характер рецепции им личности и творчества Достоевского (с. 118). Между тем, сконструированность прозы Алданова, механистичность приемов его романной техники, насыщение повествования разного рода цитатами и отсутствие подспудных интертекстуальных ходов во многом облегчает задачу исследователя. Если в случае с Буниным одно слово может оказаться многосмысленным маркером глубокого вовлечения в текст литературной традиции (например, определение «петербургский» в поздней новеллистике), то выявление «чужого текста» в произведениях Алданова требует лишь терпеливого прочтения многотомных сочинений писателя. Растворение Буниным «чужого слова» в поэтике, уведенная в подтекст игра образами и мотивами Алданову чужда. Драматическим штрихом к его собственной творческой личности становится последовательное выявление Е.А. Жильцовой все одной и той же цитаты, одного и того же памятного писателю эпизода «из Достоевского»: пресловутые пачки денег, которые Настасья Филипповна швыряет в камин... И невольно современный, строго объективный научный анализ Е.А. Жильцовой подтверждает, как всегда, нестандартное, почти эпатажное мнение о Марке Александровиче, принадлежащее блестящему перу Д.П. Святополк-Мирского: в целом довольно доброжелательно относясь к Алданову, Мирский считал его выразителем мнений и вкусов «буржуазной эмиграции», «грустящей о том, что она никогда и не была причастна к имперской власти и не участвовала в ее славе» (Святополк-Мирский Д. Заметки об эмигрантской литературе // Евразия. 1929. 5 января. № 7. С. 6). Кстати, последние слова верны даже не столько для рецепции Достоевского в творчестве Алданова, сколько для проанализированного Е.А. Жильцовой в первой и второй главах соответственно восприятия им стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и повести Гоголя «Тарас Бульба». Для понимания векторов восприятия русской классики Алдановым следует учитывать, что, при всем формальном сближении его романистики с эпической традицией русской прозы, усвоением сюжетных линий и копированием персонажей, Алданов не наследует ее духовной, то есть христианской в своем основании наполненности. Особенно это важно

при обсуждении религиозно-нравственной составляющей романа «Преступление и наказание» Достоевского, со всей богатой и сложной философской и этической рефлексией автора. Безрелигиозность Алданова, его всеразъедающий скепсис отчетливо противостоит уже бунинскому антропокосмизму, насквозь проникнутому идеей божественного провидения; что уж говорить о писателях XIX века, для которых традиция понималась не только в плане литературном, но и прежде всего в религиозно-духовном. Не случайно Пушкинский Дом выпустил за последние двадцать лет уже семь сборников с общим названием «Христианство и русская литература»; и вот эти-то христианские ориентиры были Алданову глубоко чужды и, соответственно, в собственном творчестве не востребованы. Вопрос этот непростой, и Е.А. Жильцова, как и ее предшественники в изучении темы «Алданов и Достоевский», прежде всего В.А. Туниманов и Ж. Тассис, затрагивать его не стала. А ведь постановка и попытка решения именно этого вопроса могла бы привести диссертантку к любопытным выводам о том, почему «Петлистые уши» Алданов ставил выше всего в бунинском творчестве и в чем заключалась его ключевая ошибка в прочтении Достоевского, и в том числе — реконструкция восприятия романистики Достоевского иностранцами.

Наконец, глава четвертая рецензируемого диссертационного сочинения («А.П. Чехов в творческом восприятии И.А. Бунина и М.А. Алданова») посвящена Чехову — более личности, чем художнику, поскольку диссертантку привлекла своеобразная двойная рецепция Чехова: бунинская чеховиана, и прежде всего незаконченный труд, условно озаглавленный при публикации «О Чехове», становится предметом эссеистической рефлексии Алданова. Кроме того, речь в главе идет и о театре, к которому не были причастны ни Бунин, ни Алданов. Нам не показалось, что эта глава относится к научным задачам Е.А. Жильцовой. Справиться с сопоставлением поэтик Бунина и Чехова, действительно, непросто. Да, самые нежные дружеские отношения, шутливая переписка, жанровые пересечения, порой удивительные, особенно в аспекте поиска наибольшего лаконизма прозаической формы. И при этом явное, порой резко бросающееся в глаза несходство в самой повествовательной манере, в обработке сюжета, в особенностях психологизма... Пожалуй, одним из ярких примеров такого несходства стал один из первых послереволюционных рассказов Бунина, «Метеор» (1921), который словно отпочковывается из сформулированной, но не реализованной Чеховым возможности. В чеховском рассказе 1892 г. «Страх (Рассказ моего приятеля)» развернута грустная и даже «страшная» история любви, измены, предательства и одновременно рутины человеческой жизни. Но у этой любви нет будущего, у героев нет никакой и, самое главное, нет

нравственной возможности соединить свои жизни. Любовь становится для них, но прежде всего для героини долгим душевным испытанием, без надежды на счастье. «Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, — признает герой-рассказчик, — а я хотел, чтобы не было ничего серьезного — ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором — и баста» (Чехов А.П. Собр. соч. в 12 т. Т. 8. М., 1985. С 97). Бунин, то ли воспользовавшись чеховским образом «светлого метеора» — мгновенного, ослепительного и, скорее всего, неповторимого счастья, то ли независимо от старшего друга обретает тот же образ. Но взаимоотношения и действия героев не описываются, а уводятся в подтекст. Разъединенность героев и их сближение угадываются, подкрепленные пейзажными зарисовками и их лирическим переживанием. Бунин отказывается от психологизма описательного, от последовательной фиксации поступков и их анализа, но главное — от моральной рефлексии над ними. То, что было в чеховской «реальной жизни» тяжело и «тягостно», у Бунина опущено, а рассказ, подобно лирическому стихотворению, сосредоточен на кратком миге счастья в жизни персонажей — «метеор и баста». В своем исследовании Е.А. Жильцова не посягает именно на конкретный разбор глубокого внутреннего различия писателей-новеллистов, которых так легко сблизить по формальному, жанровому признаку. Между Чеховым и Буниным проходит именно тот разлом русской прозы, когда критический реализм, достигнув в чеховском творчестве своей новой вершины, с Чеховым и завершился; коснувшиеся автора «Чайки» модернистские веяния так веяниями и остались, не затронув сути чеховской поэтики, тогда как Бунин, при кажущейся внешней архаике писателя-традиционалиста, едва ли не эпигона, реалиста-знаньевца, склонного к описательному натурализму и даже физиологизму, оказывается примером новаторских поисков эпохи модерна. Чехов во многом неизмеримо выше Бунина, но Бунин создал новую русскую прозу, проложив легкий путь оригинальным исканиям Набокова — а между Чеховым и Набоковым развергается уже пропасть.

Е.А. Жильцова справедливо связывает одну из повторяющихся деталей рассказа «Качели» (1945) — запах «жареных битков с луком» — со знаменитым, также дважды повторяющимся упоминанием о сходном запахе в чеховском «Ионыче». Но в рассказе Бунина «чужих» текстов гораздо больше, и главным столкновением оказывается противопоставление двух текстов: пушкинского (из Т.А. Гонзаги — «С португальского») и Данте («Конец любви — в устах...», цит. по Д.С. Мережковскому). Любовь реализовавшаяся, подарившая и блаженство, и горе, окруженная чистейшими символами,

почти религиозными, и любовь-самосжигание, с невозможностью — или нежеланием — соединиться с возлюбленной. И «пахучий запах» «любимых битков в сметане» появляется в «Качелях» не как низменная проза жизни, а как символ живой жизни, «здешнего» и «действительного». Усвоив чеховский урок и дважды вводя мотив кухонных запахов в крошечное (одна страница печатного текста) пространство рассказа, Бунин в свою очередь добивается изумительного эффекта в достижении гармонической нераздельности «поэзии и правды». Благодаря этим жареным с луком биткам иначе прочитывается и чеховский образ: запах «жареного лука», едва ли не общепризнанно противопоставляемый талантам семейства Туркиных, музыкально-литературным вечерам в их доме и романтической влюбленности доктора Старцева, в действительности оказывается частью настоящей, так и оставшейся недоступной и Старцеву, и Котику жизни, с настоящей, а не придуманной, как в романах Веры Иосифовны, любовью. Мысли Дмитрия Ионыча на кладбище, в ожидании несостоявшегося любовного свидания, близки взглядам самого Бунина, особенно остро переживавшего приближение небытия в эпоху создания «Темных аллей». Приводим здесь эти соображения только для того, чтобы проиллюстрировать глубоко верную мысль диссертантки о том, как «некие универсальные законы, открытые Чеховым, повлияли на развитие бунинской прозы» (с. 151). Развернув этот тезис на большем количестве примеров, чем те несколько, впрочем, весьма интересных, что приведены в главе, диссертантка, возможно, сумела бы раскрыть эти интуитивно верно почувствованные ею «универсальные законы» развития русской прозы. Заметим, что проза Алданова усваивает лишь внешние достижения этого непрерывного взаимообогащающего развития, поэтому с выявлением различных типов рецепции Чехова — реминисценций, аллюзий, скрытых и прямых цитат и под. — в текстах Алданова диссертантка справляется играючи.

Подытоживая наш обзор, еще раз подчеркнем: заявленная в названии тема, в сущности, могла бы дать материал, без преувеличения, для десятка диссертаций — не просто по сравнительно-историческому литературоведению и интертекстуальным связям, но по выявлению именно универсальных законов развития прозы на обширном сопоставительном материале. Разумеется, ввести подобный материал в рамки одного исследования и детально разобрать попросту невозможно. То, как Е.А. Жильцова с обширным материалом справилась, выявила по многообразным источникам, отобрала, структурировала и описала, заслуживает самой высокой оценки. Не менее высокой, если не превосходной оценки заслуживает и язык работы, представленной на соискание степени кандидата филологических наук. Это тот язык, который только и достоин быть

дискурсом о русской классике. Ясный, точный, не перегруженный темными терминами, почерпнутыми из модных и ежедневно устаревающих *new trends*, этот стиль изложения годен для любого типа издания — научной монографии, научно-популярной книги, школьного учебника.

Придаться не к чему не только в оформлении диссертации, представленной без погрешностей слога, без опечаток, но и в оформлении сносок и списка использованной литературы. Заметим, кстати, что в этом списке представлены только работы, на которые диссертантка опирается в собственном труде; лишь упоминаемые статьи или издания в библиографию к диссертации не включены. Из таких лишь однажды возникающих на страницах диссертации работ назовем лишь одну, чтобы уточнить имя автора: Е.А. Жильцова ссылается на книгу о Чехове «Сердце смятенное» М. Курдюмова (1934), не раскрывая псевдонима; автор книги — многолетний корреспондент Бунина, М.А. Каллаш, журналистка, подписывавшая свои публикации еще несколькими псевдонимами, криптонимами и инициалами.

В заключение скажем о заключении. Выводы к диссертации напрасно пространно и дословно повторяют выводы к отдельным главам. Они могли бы быть гораздо короче, емче и сосредоточиться на главном достижении работы — раскрытии того, как в XX веке, в эмиграции, где писателю поневоле приходилось быть охранителем традиций, складывался гипертекст русской литературы, как русская литература — художественные тексты наряду с биографиями классиков — становилась материалом нового литературного творчества. И, будучи исследователем, а не критиком-современником, которому поневоле приходится думать о литературной репутации и подыскивать осторожные формулировки, Е.А. Жильцовой стоило быть смелее и резче в суждениях там, где ее сопоставительный анализ позволял трезво охарактеризовать поэтику и стиль разбираемых писателей русского зарубежья. При всех открытиях и обретениях Бунина в художественной прозе, при высочайшем художественном мастерстве его творчество, конечно, многое утратило по сравнению с классикой от Пушкина до Чехова — остался человек наедине с космосом и трагическим осознанием неостановимого мгновения, а гармония с вечным потоком жизни, в том числе историческим, общественно-национальным, исчезла. При всей беллетристической искусности Алданова, стилевой гладкописи, эпическому размаху (точнее — замаху) и густой насыщенности его романов лицами, идеями, фактами, он остается в русской литературе великим имитатором, быть может, лучшим в ее истории. Имитационное его мастерство почти неотличимо от

подлинного творчества и выявляется в истинном свете только в рентгеновских лучах русской литературной традиции.

Если работа порой слабовата в выводах, в собственных суждениях и характеристиках, то Е.А. Жильцовой, безусловно, удалось другое: знакомство с репрезентативным кругом научных публикаций по компаративистике в области «новой и старой классики» (удачное определение С.А. Кибальника) позволяет диссертантке панорамно представить русскую литературу в почти вековом срезе, от ранних литературных опытов Пушкина и Гоголя до поздней новеллистики Бунина. К рассмотрению привлечена масса различных тонких наблюдений, собранных Е.А. Жильцовой с интересом и тщанием в отечественной научной периодике и монографических исследованиях. Впрочем, следов обещанных во «Введении» зарубежных научных источников по заявленной проблематике нам удалось обнаружить немного, касаются они в подавляющем большинстве Алданова и, за редким исключением (Ш. Ледре; по-русски из его небольшой монографии опубликована лишь глава о Бунине), давно вошли в научный оборот в отечественном литературоведении (работы В. Сечкарева, Н. Ли, Ж. Тассис).

Подчеркнем: все сделанные замечания вызваны лишь тем интересом, с которым нами была прочитана диссертационная работа Е.А. Жильцовой, богатством представленного материала, побуждающего к дальнейшему углубленному рассмотрению тех или иных затронутых проблем. Именно проявленный диссертанткой профессионализм исследователя-литературоведа вовлекает в научный диалог, позволяет надеяться, что ее увлеченность историей русской литературы XIX-XX веков продолжится в новых разысканиях и публикациях.

Практическое значение диссертации заключается в возможности использования ее результатов в курсах лекций по истории русской литературы XIX в. и литературы русского зарубежья, в спецкурсах по теории литературы (интертекстуальный анализ), а также в школьном обучении, в том числе при разработке элективных курсов; собранный и проанализированный материал немаловажен при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по творчеству И.А. Бунина и М.А. Алданова. Предпринятое исследование обладает и очевидной **теоретической значимостью**, поскольку его автор выявляет особенности формирования гипертекста русской литературы и уточняет наши представления об общих закономерностях ее развития.

Результаты диссертационного исследования были апробированы на конференциях в разных научных центрах, с достаточной полнотой отражены в автореферате и целом

ряде публикаций соискателя, среди которых есть статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертационное исследование «Русская классическая литература в восприятии И.А. Бунина и М.А. Алданова» отвечает требованиям п.7 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, так как успешно решает научную задачу, имеющую весьма существенное значение для современного литературоведения, а ее автор Е.А. Жильцова несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 — русская литература.

Доктор филологических наук,
зав. отделом культуры российского зарубежья
научно-исследовательского центра
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

Т.В. Марченко

3 декабря 2013 г.



Т.В. Марченко
А.С. Жильцова

03.12.2013